

Десятилетие

Ю.А.Левада,
доктор философских наук,
ВЦИОМ

1989—1998:

десятилетие вынужденных поворотов

"Внутренний" повод для разработки названной темы — научно-биографический для ВЦИОМ и группы его сотрудников. Как раз десять лет назад, в начале 1989 г., был проведен первый из серии "новогодних" опросов, охвативший широкий круг социальных и политических проблем. По результатам этого исследования была вскоре написана коллективная книга¹ — своего рода декларация о первых результатах изучения пробуждающегося, как казалось, общества.

Другой повод — особенности минувшего десятилетия (1989—1998 гг.) в жизни страны, общества.

Никакой смены власти или ее формальных определений в 1989 г. не произошло, даже сомнения в прочности советского строя и руководящей позиции М.Горбачева высказывались довольно редко. Но именно в этом году стал очевиден кризис горбачевской "перестройки" — попытки осторожных и ограниченных реформ, совершаемых под контролем партийного аппарата. Расширяющиеся рамки "гласности" и показная демократия безвластного съезда депутатов, тбилисский расстрел, развитие кризиса вокруг Нагорного Карабаха, падение Берлинской стены, а затем и всего "социалистического лагеря" в Восточной Европе, массовые забастовки шахтеров (тогда — за экономические реформы и против однопартийной диктатуры), движения за независимость стран Балтии, "мода" на неопределенную и неорганизованную демократию, безуспешная борьба за отмену 6-й статьи Конституции РФ (о руководящей роли партии).

В 1998 г. — четыре сменявших друг друга правительства (включая временное возвращение В.Черномырдина в августе), пос-

¹ Есть мнение! М, 1990.

ледовательно подтвердивших свою беспомощность перед финансово-экономическим кризисом. Формальный конец попыток контролируемого перехода от распределительной экономики к рыночной (на деле такие попытки прекратились значительно раньше, после краткого периода "гайдаровских реформ"). Подтвердилась и как бы легитимизировалась главная особенность всех (не только экономических) преобразований в российском обществе: они могут осуществляться не по воле и замыслу какой-то организованной группы, а лишь в "вынужденном режиме", под давлением обстоятельств и в сложной игре противоречивых влияний внутренних и внешних сил, причем сила общественного мнения здесь была наименее весомой. Непременная особенность такого типа общественных изменений — слабость государственной власти, давно отмеченная не только аналитиками, но и общественным мнением. Эта тема многократно рассматривалась в "Мониторинге". Черета колебаний, ультиматумов, заверений, капитуляций и компромиссов, которую составляет "линия" власти-98, очевидно не имеет аналогов в минувшем десятилетии. Равно как и конечный (для годового цикла) результат: "всеобщее" согласие вокруг бездействующего правительства и фигуры премьера, деятеля нового типа для нашей политической сцены.

Ожидания и опасения 1989 и 1998 гг.

Сопоставляя крайние точки десятилетия на "низовом" уровне общественных настроений, которые представлены в массовых опросах соответствующих лет, следует иметь в виду "нетипичность" 1998 г., отмеченного обвальным кризисом финансовой и политической систем. 1989 г. восприняли как более трудный по сравнению с предшествующим 43%, 1998 г. — 83%. В 1989 г. опасались растущего товарного дефицита и межнациональных конфликтов. В 1998 г. — растущих цен, безработицы, экономического краха.

Стоит отметить ограниченность возможных сопоставлений ситуации в начальной и конечной точках рассматриваемого периода, которая обусловлена изменением содержания и направленности общественных процессов ("сменой вех"), произошедшей за эти годы. Нельзя судить о ситуации 1998 г. по тому, насколько она, например, оправдывает или не оправдывает надежды — тем более иллюзии 1989 г. Суждения типа "если бы знали", "хотели иного" и пр., могут служить мерой общественных (в том числе и массовых) иллюзий образца 1985—1989 гг., но никак не мерой произошедших перемен.

Начиная с 1991 г., большинство респондентов в массовых опросах, отвечая на вопрос о том, что если бы они в 1985 г. знали к чему приведут начавшиеся тогда в стране перемены, с уверенностью утверждают, что не поддержали бы "перестройку" (в % к об-

щему числу опрошенных; всероссийский опрос 1991 г.; N=2790 человек):

Варианты ответов	%
Поддержал бы эти перемены	25
Не поддержал бы эти перемены	48
Не могу сказать определенно	27

Как видим, разочарование в отношении перемен и даже испуг перед ними вовсе не достояние последних трудных лет. Они были весьма широко распространены еще в разгар того, что именовалось "перестройкой". Разумеется, такие данные свидетельствуют о настроениях, доминирующих на момент опроса, но не о наличии массовой поддержки перемен, заявленных М.Горбачевым (хотя бы потому, что их цели и программы никогда не формулировались явно). Сколько-нибудь серьезно судить непосредственно по опросным оценкам о значении происшедших перемен можно было бы, только сравнивая различные варианты или программы возможных и реальных действий, но сделать этого нельзя, поскольку, во-первых, такие программы никогда не предъявлялись обществу, во-вторых, общественное мнение не обладает компетентностью, которая позволяла бы грамотно их оценить, а в-третьих, всякое сопоставление замысла и реального действия ненадежно, так как обстоятельства всегда вынуждают корректировать самые совершенные планы. Самые надежные и содержательные опросы могут дать определенный материал для аналитической работы.

Ни "Реформы", ни "Революции"?

Один из стандартных вопросов мониторинга общественного мнения — продолжать ли экономические (или рыночные) реформы. Очевидно, однако, что ответы скорее показывают оценку социально-политической ситуации, чем отношение к какой-либо конкретной программе преобразований. В многолетней политической полемике оппоненты Е.Гайдара обычно упрекают его в том, что стране была навязана неадекватная программа реформ. Его сторонники отвечают, что если у них и была программа, то, к сожалению, осуществить ее не удалось. Множество непоследовательных решений, в той или иной мере изменяющих деятельность предприятий, банков и пр., не складываются даже в подобие "Великой Реформы" (этот термин лояльные режиму историки в иные времена относили к переменам эпохи Александра II). Реформа с большой буквы выглядит расплывчатым символом отчасти задуманных, отчасти навязанных, отчасти случайно "получившихся" перемен, но никак не программой.

Поэтому, в частности, лишены смысла суждения относительно "неподготовленности" общества (советского, российского) к пере-

нам. К событиям исторического масштаба — а как бы их ни оценивать, мы имеем дело с такими феноменами — терминология запланированных мероприятий неприменима. Упрямая традиция отечественных стереотипов социального мышления принуждает исследователей рассматривать проблемы перемен через формулы типа "кому выгодно" и "кто виноват", в то время как единственно серьезным представляется анализ реальной ситуации и возможностей выхода из нее ("что было возможно?"). А также, разумеется, применимости к ее пониманию определенной модели, когнитивной схемы.

В связи с этим неизбежно возникает вопрос о применимости к происшедшему и происходящему соблазнительной или устрашающей — в зависимости от идеологических симпатий — модели Революции. Массовые календари давно перестали отсчитывать время с октября 1917 г., мало кто помнит уже и конъюктурно-политиканские лозунги 1987 г. типа: "Перестройка — продолжение Октября!", а романтический идол Революции (с большой буквы!) живет в социальной памяти, более того, иногда кажется универсальным средством понимания исторических перемен и переломов. На исходе XX в. приходится признавать, что как идол массового воображения, так и понятийный комплекс революции, по-видимому, исчерпал свои возможности.

Революционная терминология использовалась в социальных науках в двух основных смыслах: во-первых, для обозначения относительной быстроты и фундаментальности исторических перемен ("скачок", "новое качество" и т.п. — в гегельянской терминологии, которая имеет хождение применительно к феноменам биологического, космологического и других порядков), во-вторых, для характеристики внутренней структуры социально-политического переворота (организованное насилие, социальная мобилизация масс, жертвенный авангард, героизация лидеров и пр.). Магический ореол термину придавало широко распространенное после известных французских событий 200-летней давности представление о революции как о необходимом компоненте прогресса. В этом смысле Революция — побочная дочь главного социального мифа XIX в., мифа о всепобеждающем Прогрессе, авторство которого оспаривали либералы и радикалы, гегельянцы, позитивисты, марксисты, анархисты и др. Концепция прогресса как поезда, несущегося по рельсам Истории, отдавала революциям функции паровоза (знаменитая формула К.Маркса — "локомотивы истории"). В подобную схему прогрессистское мировоззрение прошлого века загоняло все варианты модернизационных конфликтов и конвульсий разных стран, начиная с XVII в.

Социальная мифология неумолимого Прогресса и его революционных локомотивов имела по меньшей мере амбивалентные социаль-

но-нравственные последствия. Утверждалось представление о том, что возвышенная цель (прибытие "локомотива" из пункта А в пункт Б) будто бы оправдывает любые средства ее достижения, а действия человека — и "героического", и "массового" — определяются исторической целесообразностью. Первыми жертвами таких постулатов всегда становились их собственные героические сторонники; самыми массовыми — "неудобные" или "непослушные" социальные группы, сословия, народы. Всякое "революционное" (т.е. совершаемое во имя определенных лозунгов) насилие начиналось столкновением элит, но становилось главным образом насилием над собственным народом.

Между тем в большинстве стран мира все экономические, политические, культурные перемены, связанные с формированием современных общественных институтов, обходились без революционных переворотов. Более того, как раз там, где пути модернизации оплачивались ценой многолетних и кровавых катаклизмов, они оказывались наименее эффективными. Самый убедительный пример тому, к сожалению, наш отечественный.

В прошлом веке революционные потрясения в разной мере переживали некоторые страны западной части Европы. Происходившие в Западном полушарии перевороты и национально-государственные конфликты нередко носили революционные названия, но все же были событиями иного рода. В первой половине XX столетия средоточием революционных катаклизмов оказывается европейский Восток — наследие трех империй (Россия, Германия, Австрия), разрушенных мировой войной. Во второй половине нашего века действовали два источника революционных взрывов или попыток — один из них связан с процессами деколонизации, другой — с кризисом советской сферы господства; реальная роль тех и других оставалась скорее символической или мобилизационной (Падение режимов советского типа в странах бывшего "блока" осенью 1989 г. назвали в прессе того времени "демократическими революциями", но термин не удержался, что вполне оправдано.) Опыт двух столетий позволяет сделать вывод о том, что революции — не столько локомотивы, сколько *катаклизмы* истории.

Насколько правомерно относить к ним события прошедшего десятилетия нашей истории? Аналогии с различными моментами событий иных эпох всегда можно отыскать (с большим или меньшим усилием), но они практически ничего в нынешних перипетиях нашей жизни объяснить не могут. В структуре происходивших перемен ("динамической структуре") отсутствовали те компоненты, которые позволяли бы рассматривать ее как революционную.

Прежде всего отсутствовала новая элита, которая могла бы претендовать на роль авангарда преобразований. Ни реформатор-

ски настроенная часть партийно-государственной номенклатуры, ни либерально-критические интеллигенты, ни радикальные диссидентские группы, даже вместе взятые — если бы можно было представить себе некое объединение этих разнородных групп, — не годились для исполнения этой роли: не было в этом конгломерате ни организованности, ни "мотора", ни "зажигания", не говоря уже о каких бы то ни было планах-программах. Роль реформатора пыталась и не сумела сыграть "горбачевская" верхушка старой, партийно-"советской" номенклатуры. Здесь коренное отличие российской ситуации конца 80-х годов от синхронных ситуаций в Польше, Чехословакии, Венгрии и др.: там уже заявила о себе новая политическая элита, ориентированная национально (т.е. антиимперски) и демократически (т.е. на "западные образцы"). Лозунги национально-государственного освобождения явились важнейшим средством первичной — не продержавшейся и не способной продержаться долго — массовой мобилизации, организационно выражавшейся в национально-демократических движениях, "фронтах", "форумах" и т.п.

В России факторы "новой" ("перестроечной", квазиреволюционной) массовой мобилизации отсутствовали. Политическая мобилизованность вокруг официальной (старой по природе и типу действия) политической элиты, заметная до начала 90-х годов (до кризиса 1993 г.) была скорее пережитком прошлого "морально-политического единства" тоталитарного общества, чем началом новой, демократической организации общества. Интеллигентское возбуждение 1987—1990 гг. привело к всплеску демократических настроений в августе 1991 г., но охватывало довольно узкие, преимущественно интеллигентские круги, и не получило ни продолжения, ни организационного воплощения.

В политической публицистике время от времени дискутируется ретроспективная возможность создания новой партии — подразумевается что-то вроде демократизированной КПСС — то ли с М.Горбачевым 1990 г., то ли с Б.Ельциным 1991—1993 гг. во главе. Эта "ниша" никогда не была (и не могла быть) заполнена: вне ситуации хотя бы кратковременной массовой мобилизации новая массовая партия не могла образоваться, а попытки "оформить" в качестве партии правящую верхушку или ее более радикальную часть (НДР, ДВР) кончались весьма плачевно.

И наконец, третье недостающее звено революционной модели — лидерство. Революционные переломы нуждаются в сильной, предельно и притом демонстративно концентрированной власти, поэтому они перебирают немногие варианты государственного единоначала, порой приписывают наполеоновские характеристики случайно возвышенной посредственности. Ничего подобного в России за эти десять лет не наблюдалось. Власть была и выглядела

слабой, это относится и к ее первым лицам. С начала 90-х годов опросы неизменно отмечают "слабость, отсутствие власти, анархию" как доминирующую черту обстановки в стране; о том же свидетельствует и массовая тоска по порядку и "сильной руке". И М.Горбачев первых лет перестройки, и "ранний" Б.Ельцин, а также многие из их наиболее влиятельных оппонентов, одинаково неудачно пытались выступать в качестве инициаторов перемен и "сильных" лидеров, способных вести за собой политическую элиту и массы. Для исполнения этой роли всем им недоставало прочных рычагов власти, механизмов мобилизации массового доверия и поддержки, да и личных качеств дальновзорких и уверенных в себе харизматиков. Всплески массового доверия неизбежно и быстро сменялись массовым разочарованием и поношением. Носитель верховного авторитета не мог стать ни "вождем" авторитарного типа, ни политическим лидером современного образца, он мог оставаться (или не оставаться) лишь кумиром — *символом* перемен или стабильности — в зависимости от смены доминирующих функций. Выдвижение к концу 1998 г. на первый план в политической жизни, равно как и в общественном мнении, такого деятеля, как Е.Примаков, вполне закономерный итог эволюции лидерских функций в современном российском обществе: символический лидер больше не претендует на статус могущественного вождя, а общество как будто признает приоритет его символически-стабилизирующей миссии.

Призраки революционных времен и соответствующих иллюзий продолжают тем не менее жить где-то в привычных стереотипах массового сознания, а иногда и в политической публицистике. Согласно одному из опросов ВЦИОМ октября 1998 г. (N=1608 человек), 7% вполне соглашались, а 27% скорее соглашались с тем, что "в нынешней России могут повториться события, подобные революции в октябре 1917 г." Судя по составу ответивших подобным образом, это преимущественно пожилые люди, доверяющие компартии, т.е. сохраняющие какие-то стереотипы "революционного" мировосприятия.

Отголосок тех же, по существу, стереотипов можно видеть в опасениях (или ожиданиях), связанных с массовыми социальными протестами. К этой теме мы подойдем несколько позже.

"Вынужденный" переход: некоторые особенности

Революционные, военные, колонизационные и подобные им или порождаемые ими катаклизмы последних двух столетий связаны с глобальным процессом *перехода* от традиционных к современным типам цивилизации (модернизационный переход). Причем, как сказано выше, все эти катаклизмы не обязательные, а, скорее, осложняющие обстоятельства такого перехода. В различные периоды в

разных странах особенности модернизационного перехода определялись влиянием внутренних и внешних факторов (к числу последних могли относиться колонизационные и оккупационные — сошлемся на пример Японии после 1945 г.), масштабами и способами влияния модернизационных элит и т.д.

Как уже отмечалось, в наших условиях роль проводника перемен с 1985 г. была вынуждена взять верхушка старой партийно-государственной номенклатуры — ради спасения собственного статуса и в попытке сохранить позиции страны как мировой сверхдержавы; какую-то роль (все же подчиненную), как обычно, играли амбиции нового (и последнего) поколения советской правящей элиты. В соперничестве с более консервативными аппаратчиками М.Горбачев *вынужден* был обратиться за поддержкой к демократической интеллигенции и западным политическим лидерам. Аналогичным образом позже Б.Ельцин в амбиционном соперничестве с М.Горбачевым *вынужден* был принять роль радикального разрушителя советского режима, призвать к власти "команду реформаторов" и т.д. Конечно, это весьма упрощенная схема (в частности, не принимающая в расчет вынужденные маневры, отступления, компромиссы, непоследовательности и прочие врожденные слабости-пороки "вынужденных" процессов и их участников).

Вынужденные перемены обычно совершаются "чужими" руками, т.е. старыми институтами и людьми, положение и политическое воспитание которых не соответствует содержанию перемен. Как известно, почти вся "перестроечная" и "реформаторская" политическая элита — это преимущественно партийно-политическая верхушка советского периода (ее более лабильная часть). Лидерами перемен (в основном символическими) *вынуждены* были становиться люди, умело следующие в фарватере происходящих процессов при почти полном отсутствии ролей "впередсмотрящих" и прокладывающих путь.

Если на первых порах, в романтические годы ранней перестройки, ее первые шаги казались легкими и успешными, то это происходило не из-за силы проводников перемен, а из-за слабости их противников, а точнее, глубокого разложения партийно-советского режима. *Вынужденной* (и, как выяснилось позже, поверхностной, номинальной) демократии противостоял *вырожденный* режим (включая идеологию, аппарат, влияние и пр.). Поражение произошло до появления на сцене "победителей". В дальнейшем за это пришлось долго и тяжело расплачиваться.

В определенном смысле вынужденность перемен говорит об их неизбежности, поэтому силы и деятели, далекие от симпатий к направлению перемен, вынуждены их признавать, считаться с ними, пытаться их использовать и пр. В частности, так можно характеризовать деятельность замыкающего 1998 г. полукоммунистического по составу пра-

вительства, которому приходится продолжать экономическую политику своих предшественников, например, представлять парламенту столь жесткий монетаристский бюджет, что его не решились бы отстаивать реформаторские кабинеты.

Можно подойти к ситуации "вынужденности" с другой стороны. Большинство сторонников КПРФ, согласно опросам, не хотели бы возврата назад, к советской системе. Что здесь вынужденное: признание невозможности возврата к социалистическим порядкам или выражение симпатий к партии вчерашней номенклатуры?

"Врожденный" порок вынужденного процесса — его хаотичность, неуправляемость. Отсутствие порядка, о котором сожалеют решительно все политики, аналитики, равно как и респонденты массовых опросов, является на деле необходимым условием формирования определенного баланса разнородных тенденций, позволяющим избежать катастрофического распада общества. Конечно, такого рода механизм общественной самоорганизации малоэффективен, неизбежно приводит к большим потерям (экономическим, правовым, нравственным). Иной регулирующей системы в данной ситуации практически не существует.

Вынужденные перемены детерминированы не целенаправленной программой или хотя бы перспективой, а наличным коридором возможностей, поэтому движение выглядит как серия метаний от одной "стены" к другой, от "потолка" к "полу" и обратно. Социально-политическая ситуация после августа 1998 г. дает едва ли не самый яркий образец именно такого вынужденного движения. Это тоже своего рода кульминация аналогичных процессов последних лет.

Одно из необходимых условий "работы" всего механизма вынужденного развития — сложившаяся за последние годы система отношений власти (властвующей элиты) и массы населения, которая хорошо отслеживается через систематические опросы общественного мнения. Лишенная элементов принудительной мобилизации и идеологических соблазнов, эта система строится на взаимном отчуждении и своего рода балансе терпения/протеста.

Амбивалентность "протестного" фактора

Массовое недовольство и массовый протест — очевидное обретение последнего десятилетия. В начале 1989 г. исследования еще обнаруживали весьма высокий уровень традиционно-советского доверия населения по отношению к власти и крайне низкий уровень недовольства (о социальном протесте еще не могло быть и речи не только в ответах, но и в самих вопросах). Уже летом 1991 г. громадное большинство (88% опрошенных) соглашается с тем, что люди "устали от политики".

Чрезвычайно быстро, примерно через два-три года "климат" общественного мнения как будто принципиально изменился: сложился устойчивый фон *недоверия* по отношению к институтам и носителям власти. В то же время опросы обнаруживают широкое распространение в обществе настроений социального *протеста* (мониторинговые показатели возможности массовых выступлений и готовности населения участвовать в них).

Отметим некоторые характерные черты и особенности динамики этих показателей. Высокий уровень недоверия по отношению к носителям и институтам власти, очевидно, не означает еще отрицания их авторитета или отказа в поддержке: достаточно сослаться на избрание в 1996 г. Президентом России Б.Ельцина, имевшего и тогда довольно низкий уровень общественного доверия. Низкое доверие населения к политическим партиям в целом не мешает (пока) распределению массовых симпатий между партиями и движениями, а также намерению примерно 1/2 избирателей принять участие в предстоящих парламентских выборах по партийным спискам.

Исследования постоянно показывают заметный разрыв между показателями возможности массовых протестов и готовности участвовать в них (за последние годы этот разрыв был почти сведен на нет только в момент резкого обострения социально-экономического кризиса в начале осени 1998 г.). Ранее приходилось отмечать, что оценки возможности выступлений в определенной мере (особенно среди населения крупных городов, более образованных групп) отражают и опасения, страх перед разрушительными последствиями таких выступлений.

В то же время уровни *реального* участия населения в массовых выступлениях значительно ниже уровня демонстративно заявленных намерений относительно такого участия. Наиболее наглядна такая разница в моменты чрезвычайной социальной напряженности и общенациональных акций протеста.

Весьма поучительной в этом плане оказалась ситуация вокруг всероссийской акции социального протеста, назначенной профсоюзами при активной поддержке коммунистов на 7 октября 1998 г., в самый напряженный момент финансово-экономического кризиса. Как известно, опасения относительно того, что запланированная демонстративная акция может превратиться в некое подобие "русского бунта", "социальной революции" или просто общественной катастрофы, не подтвердились (табл. 1).

Как и предполагалось, реальное участие в акции протеста оказалось значительно ниже заявленного ранее, практически никаких эксцессов не происходило, а влияние всей акции на социально-политическую обстановку и атмосферу оказалось малозаметным.

Таблица 1

Намерения и участие в акциях протеста 7 октября 1998 г. (В % к числу опрошенных; опросы типа "Экспресс"; сентябрь—октябрь 1998 г.)

Суждения	Намеревались	Участвовали
Одобряю, но не буду принимать участия ни в каких конкретных действиях	48	45
<i>Готов участвовать:</i> в приостановке работы на несколько часов	6	3*
в забастовке	6	—
в митинге	14	7**
в уличном шествии, пикетировании государственных учреждений	8	4***
в захвате административных зданий, блокировании движения транспорта		0000,2
в других действиях	1	1
не одобряю проведение этой акции	17	16
затрудняюсь с ответом	10	20

* Участие в забастовке или временной приостановке работы.

** Участие в уличном митинге, демонстрации, пикетировании.

*** Участие в митинге на предприятии.

Какие факторы обесценивают социальное недовольство и массовые протесты в условиях тяжелых лишений и напряженной ситуации в обществе?

Прежде всего следует принять во внимание, что постоянное недовольство властью и устойчивость представлений о высокой вероятности массовых социальных протестов воздействуют на общественное мнение не как "событие", а как *общий* и даже "нормальный" фон. Наличие такого фона (как бы некоего универсального задника нашей социально-политической сцены, на которой разворачиваются собственно событийные акции) ведет к тому, что не только периодические спады-подъемы социально-политической или социально-экономической конъюнктуры, но даже экстраординарные катаклизмы (подобно августу 1998 г.) воспринимаются большинством населения как очередная неприятность, которую следует как-то выдержать, пережить, перетерпеть с большими или меньшими потерями.

Можно полагать, что постоянное присутствие пессимистического фона в общественных настроениях облегчает снижение требований (в социологической терминологии — уровня притязаний) человека к социальной системе. Вместе с тем этот фон создает определенный барьер на пути распространения настроений *катастрофизма*, нередко свойственных "благополучному" социальному мировосприятию западного типа.

Но именно эта готовность снижать притязания и униженно (отнюдь не горделиво-стоически!) выносить очередные "свинцовые мерзости жизни" подрывает саму возможность организованного социального протеста современного типа, ориентированного на соблюдение гражданских и социальных прав человека в условиях правового общества. Если, например, забастовочные движения европейского или американского образца направлены на улучшение условий труда и социального обеспечения, то российские стачечники требуют всего лишь исполнения самых элементарных условий существующего и неисполняемого трудового договора (главным образом, выплаты задолженности по зарплате). Это не действия "за" более выгодные и льготные условия работы, а только "против" нарушения привычного порядка вещей.

Притом, как известно, такие акции имеют чаще всего довольно неопределенную, диффузную направленность. Бастуют и протестуют в России не столько против каких-то действий или бездействий работодателей, а против "верхов", требуют государственных выплат и гарантий. В принципе, право на забастовку (в отличие от других социальных и политических прав, появившихся за последние годы) пользуется невысокой общественной поддержкой. Летом 1998 г., в период обострения шахтерских протестов, заметное большинство поддержало самые отчаянные действия стачечников, включая блокаду железных дорог и долговременную демонстративную осаду правительственного Белого дома. Однако эти акции не получили практического продолжения. Лишь небольшая часть опрошенных считала возможным их распространение. На деле этого не произошло.

В свою очередь, такой "ограниченно-негативистский" характер социального протеста, а также привычное неуважение к правам человека и работника, кроме того, традиции профсоюзной жизни советских времен препятствуют формированию организованного рабочего или профсоюзного движения в стране и в то же время способствуют использованию акций массового протеста для лоббирования отраслевых (угольных, энергетических) и местных интересов.

Российское общество цивилизационно переросло такое средство выхода общественного недовольства, как "русский бунт" (который, впрочем, и в старой отечественной истории встречался как довольно редкое, скорее как периферийное явление), и не доросло до современных форм организованных социальных движений. Если оставить в стороне пограничные ситуации и регионы этнополитических конфликтов, никаких взрывов "стихийного" возмущения за последние годы не происходило и, можно полагать, не ожидается. Высказывавшиеся в сентябре—октябре 1998 г. опасения относительно того, что напряженная социальная ситуация может привести к неуправляемому массовому взрыву, цепной реакции эксцессов

и т.п., раздувались искусственно. Можно было бы вспомнить, что в уходящем столетии страна пережила три периода чудовищного массового голода в крупных регионах (1921, 1933, 1946 гг.), правда, все это при жесточайшей диктатуре, исключавшей массовые волнения. Сейчас, как отмечено выше, иные условия на всех уровнях общественной пирамиды и иные факторы, лишаящие подобные акции шансов на существование.

В заключение "протестной" темы еще один, привнесенный извне вопрос: почему социальные катаклизмы у нас не дали толчок к созданию социально-политического феномена типа польской "Солидарности" 1980 г. (В атмосфере опасений "бунта" осенью 1998 г. никто ведь не допускал и малейшей возможности *такого* развития российских событий!) Ответ, видимо, следует искать в особенностях социально-политического и национально-политического развития двух стран. Появление и успех "Солидарности" в Польше стал возможен как итог длительной череды социально-политических кризисов и выступлений, имевших широкую национально-патриотическую основу. Ничего подобного в России (СССР) не было.

Слабость социального протеста (точнее, отсутствие организованных социальных движений за права человека и работника) вынуждает единственное действительно универсальное и эффективное стремление значительного большинства населения к тому, чтобы приспособиться к переменчивой общественной ситуации. Здесь реальная, традиционная и получающая постоянное подкрепление основа легендарного российского всетерпения. Кстати, согласно опросам (декабрь 1998 г.), именно эту черту общественное мнение признает наиболее важной для национального характера. Ничего удивительного в том, что опросы общественного мнения постоянно фиксируют тенденцию к адаптации как наиболее массовую и наиболее привычную: "средний" человек, "массовый" человек — основной предмет массового исследования — другого ориентира не имеет даже в условиях самых острых кризисов и социальных катастроф. В годы самых тяжелых гражданских войн XX в., раскалывавших общества (в России, Испании, Мексике, Китае), в активном, заинтересованном противостоянии участвовали по несколько процентов населения, остальные стремились выжить и адаптироваться к сложившейся ситуации. Вполне понятно, что условия и уровни адаптации оказывались различными.

Уровни адаптации — "потребительской" и "статусной"

Проблема приспособления человека к изменившимся условиям возникла не в 1989 г., а несколько позже — после 1992 г., когда

общество как будто в одночасье оказалось в новой (и весьма трудной) экономической ситуации.

Регулярные (с осени 1998 г.) вопросы относительно уровней "потребительского" поведения позволяют отметить некоторые связи между представлениями об адаптации и характеристиками такого поведения.

В рамках обстоятельного исследования 1994 г. ("Советский человек"-2) была предпринята попытка выяснить соотношение "пассивного" и "активного" приспособления населения к социально-экономическим переменам. Согласно полученным (и опубликованным тогда) данным, чаще всего речь шла о пассивных, понижающих формах адаптации ("умение вертеться" и т.п.). Изучение потребительского поведения населения, особенно в последние месяцы, показывает общее снижение реального уровня массового потребления, объема нынешних и планируемых покупок, сбережений.

И в то же время сохраняется отмечавшееся ранее стремление большинства поддерживать "равнение на середину", ориентироваться на (субъективно воспринимаемый) "средний" уровень потребления, а также средние статусные позиции.

Согласно одному из опросов ноября 1998 г., цели, которые ставят перед собой семьи, выглядят так (в % к числу опрошенных; N=1600 человек):

Цели	%
Выжить, пусть на самом примитивном уровне существования	28
Жить не хуже, чем большинство семей в городе, районе	48
Жить лучше, чем большинство семей в Вашем городе, районе	12
Жить так, как живет средняя семья в Западной Европе, США	9
Жить лучше, чем живет средняя семья в Западной Европе, США	3

Тенденция не только "выжить", но "жить не хуже" все еще действует в нашем обществе.

Довольно показательный механизм субъективной социальной адаптации обнаруживает динамика статусных позиций за ряд лет (табл. 2).

При резком уменьшении верхней статусной группы (в 2 раза) и росте нижней группы (в 1,5 раза) численность "середины" в итоге почти не изменилась. Сохранение (чисто субъективное, т.е. воображаемое) статусной "середины" свидетельствует о том, что в ситуации социальной неопределенности человек неизменно ищет точки

Таблица 2

Распределение статусных позиций*

Месяц, год	Статусные позиции		
	высокие	средние	низкие
Декабрь 1989 г	11	66	20
Апрель 1994 г	11	58	27
Ноябрь 1994 г	9	63	22
Ноябрь 1995 г	7	62	24
Ноябрь 1996 г	11	62	24
Ноябрь 1997 г	12	64	24
Ноябрь 1998 г	6	61	33

* О методике построения показателей субъективных статусов см.: Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1998. № 2.

стабилизации, позволяющие выдержать очередные перепады общего напряжения.

За десятилетие существенно изменились самооценки, ожидания, опасения, надежды общества, выраженные в массовых опросах. Ориентации на туманное будущее сменились ориентациями на выживание в реальных, впрочем, также довольно туманных условиях. Доверие к инициаторам перемен уступило место поискам символических авторитетов стабильности и порядка. С самого начала перемены носили вынужденный характер, изменилась только мера очевидности этой фундаментальной характеристики нашей жизни. Как говорили в древности, ЖЕЛАЮЩИХ СУДЬБА ВЕДЕТ, НЕЖЕЛАЮЩИХ — ТАЩИТ (VOLENDEM DUCUNT FATA NOLENDEM TRANUT).